
Котабо
ПЕРЕТЕКАЯ

КОТАБО КОТАБО
Перетекая

https://litres.ru/73734122
SelfPub; 2026

Аннотация

«Я пишу не рукой. Пишет то, что в груди, где после акафиста в саду открылась точка, меньше волоса и ярче десяти тысяч солнц».

Криста — художница, которая чувствует живопись как энергию. Артур — физик, увидевший трещину в реальности. Их встреча станет прошивкой двух миров: любви и знания, цвета и формулы, мистики и ячеек пространства.

В снах Криста входит в картины Босха, Шагала, Климта, Врубеля, Малевича, Тёрнера, Микеланджело. Там она встречает Анатолия — того, кто ждал на берегу, когда она бросится в воду, отвлекая крокодила, проглотившего время. Любовь к нему становится атомным реактором в груди, но она не удерживает её, а переплавляет в живопись.

Это книга о том, как любовь перетекает от картин к людям и к Богу. О том, что даже в камне есть свет, а пустой трон ждёт тех, кто готов сесть, не занимая места. И о том, что выше любви.

Содержание

Пролог. 5
Сон о Москве. 11
5. Сон, в котором время было краской 44
Конец ознакомительного фрагмента. 48

КОТАБО
Перетекая

Книга о том, как любовь становится искусством, а искусство – любовью

«Перетекая»

Пролог.

Я пишу это не рукой. Рука – только провод. Пишет то, что в груди, где после акафиста в саду открылась точка, меньше волоса и ярче десяти тысяч солнц. Пишет то, что видело золотую реку в практике и поняло: ни один человек не вместит этой любви. Только Он. Тот, у кого нет имени, но есть тысяча имён. Тот, кто в глине, в краске, в запахе старого музея, в глазах Анатолия, когда он впервые показал мне крокодила, проглотившего время.

Я сижу в мастерской. Свет падает на холст, которого ещё нет, но он уже здесь – в том месте, где встречаются ожидание и тишина. Кот дышит на подоконнике. Где-то за стеной женщина ругается с мужем. Это тоже любовь, только не узнавшая себя.

Я учусь не делить.

Когда-то я делила: Коровин – любовь-радость, Ван Гог – любовь-печаль, Врубель – то, что выше. Теперь я знаю: это одна река. Просто в Коровине она течёт быстро, на солнце, брызгами на белые скатерти. В Ван Гоге она закручивается в штопор, жжёт звёзды, падает на подсолнухи и рвёт сердце невысказанным. Врубель – это место, где река останавливается и становится кристаллом. Не замерзает – кристаллизуется в такое сияние, что глазам больно. Это уже не эмоция. Это знание.

Я помню, как в двенадцать лет просилась в художественную школу. Отец сказал: ерунда. Учись чему-то серьёзному. Я выучилась физике. Полюбила её. А потом поняла, что физика – тоже любовь, только закованная в формулы. Что формула Единого Поля – это не уравнение, а то самое сияние, которое я видела в центре груди. Просто учёные ищут его снаружи, а я – внутри. Мы идём с разных сторон к одному костру.

В детстве, напротив бабушкиной квартиры, был музей. Я бегала туда одна, бродила часами. Смотрительницы знали меня, не прогоняли. Я стояла перед картинами, и они говорили со мной. Не голосами – состояниями. Я не знала тогда, что это называется «чувствовать энергию». Я думала, так умеют все. Думала, что взрослые просто притворяются, что не слышат, потому что им надо делать дела.

Потом я узнала, что не все. Что это – дар и проклятие. Что он приведёт меня к Учителю, который с порога назовёт меня ясновидящей, и из левого глаза покатится слеза без грусти – ключ, поворачивающийся в замке. Что он приведёт к художнику, чьи картины были на уровне сердечной чакры, но сам он был заперт в чакре животной ярости. Что я брошусь спасать его, как во сне – в ледяную воду, навстречу крокодилу, чтобы отвлечь его от того, кто стоит на берегу.

Тот сон я поняла позже. Китайцы на пляже – Учитель и Ученик в одном лице. А крокодил – это то, что стережёт порог. Не зло. Страж. Проверка. Чтобы пройти, нужно отдать

ему своё время. Или быть готовой умереть за другого.

Я бросилась в воду не за геройством. Я бросилась, потому что любовь была больше меня. И крокодил ушёл за мной на глубину, где ему тяжело. А тот, другой, остался на берегу.

Через много лет я вошла в кабинет Анатолия. Увидела картину: двое детей смотрят на крокодила, в пасти которого часы. И всё встало на место. Он был тем, кто ждал на берегу. Мы встретились, когда я уже перестала спасать. Мы говорили о Геноне, о хранителях порога, о том, что время можно не пожирать, а останавливать. Я полюбила его не как Учителя, не как спасителя, не как ученика. Как родного. Как того, с кем можно молчать о главном, потому что главное уже сказано без слов.

Любовь к нему была атомным реактором в груди. Я не приняла предложение быть вместе. Я взяла эту энергию и переплавила в живопись. Не потому, что не хотела его. А потому, что поняла: эта любовь не может быть только нашей, для двоих. Она слишком большая. Она хочет быть краской, светом, движением кисти, запахом масла, тишиной в мастерской, когда рождается то, чего не было.

Иногда я думаю: что, если бы я сказала «да»? Уехала с ним в Нью-Йорк, ходила на вернисажи, пила вино с коллекционерами? Моя живопись была бы другой. Может быть, её бы вообще не было. Потому что художник во мне родился из боли, из одиночества, из того, что я не выбрала «быть вместе». Я выбрала быть.

Быть – это не позиция. Это точка в груди. Алатырь-искра. Когда я пишу, она светит сквозь холст. Зрители иногда говорят: «Ваши картины светятся». Они не знают, что это не метафора. Что свет – это любовь, которая перетекла из мужчин в краски. Которая не исчезла, а приняла форму.

Коровин научил меня радости без причины. Просто мазок, просто цвет, просто жизнь, которая хороша, потому что она есть. Я стою в Третьяковке перед его «Зимой» и чувствую, как снег хрустит не под ногами, а в сердце. Это не воспоминание. Это прямое попадание. Художник сто лет назад положил мазок, а я сейчас – в этом мазке. Времени нет. Есть только любовь, которая выбрала форму снега и солнца.

Ван Гог – другое. Я смотрю на его «Красные виноградники» и чувствую, как земля плавится под тяжестью солнца, как люди гнутся, но не ломаются, как цвет превращается в крик. Его любовь – это любовь того, кто знает, что его не поймут. Он пишет не для зрителя – для того, Кто видит всё. Его картины – это письма к Богу, которые никто не отправлял, но они дошли.

Врубель – это порог. Его «Демон» сидит не на горе, а на границе миров. Он не падший, он – тот, кто видел слишком много и не может вернуться. Его живопись – это место, где любовь перестаёт быть человеческой и становится космической. Смотреть на Врубеля больно. Потому что он показывает, что за пределами радости и печали есть что-то, для чего у нас нет слов. Это что-то – и есть то самое, что я увидела в

золотой реке. То, что вмещает только Он.

Моя жизнь вела меня через любовь и боль к тому, чтобы начать писать самой. Каждый мужчина был уроком формы. Учитель – вертикалью. Художник – страстью, которая жжёт и очищает. Анатолий – зеркалом, в котором я увидела себя. Монах – напоминанием, что душа не одна. Академик – жаждой познания, которая оказалась жаждой прикосновения к Тайне.

А потом осталась я и холст.

Я пишу не то, что вижу. Я пишу то, что видит во мне та точка. Свет, который течёт из неё сквозь руку, сквозь кисть, сквозь масло – на ткань. Иногда я не знаю, что получится. Я просто впускаю. А потом смотрю и узнаю: это – Коровин, это – Ван Гог, это – Врубель. Но это – я. Та, которая позволила любви перетечь.

Я больше не ищу её в мужчинах. Она есть. Она всегда была. Просто я путала её с желанием быть понятой, спасённой, увиденной. Теперь я не путаю.

Я вижу её в глазах Ирис, когда она приносит чай и спрашивает: «Ну, что там у тебя?». В молчании кота, который ложится на незаконченный холст, будто знает, где тепло. В запахе скипидара, смешанном с утренним кофе. В том, что я могу простить Кириллу его ярость, потому что понимаю: он тоже искал, только не знал, как.

Любовь перетекает. Из картин – в людей. Из людей – в Бога. Из Бога – обратно в мазок. Это круг. Не тот, который

замыкается, а тот, который раскручивается в бесконечность.

Я пишу эту книгу не для того, чтобы меня поняли. Я пишу её, чтобы зафиксировать: это было. Свет был. Река была. Алатырь-искра в груди – не выдумка. Всё это правда. И если кто-то прочитает и узнает в этом своё – значит, я не зря держала кисть.

Сейчас за окном вечер. Кот ушёл на кухню, требует есть. Я пойду дам ему корма. Потом вернусь к холсту, где застыло то, что я не умею назвать. Может быть, это и есть формула Единого Поля. Не в словах, не в цифрах. В том, как свет падает на подрамник. В том, как я дышу.

Сон о Москве.

Артур вышел из метро на «Смоленской» и сразу попал в лобачевскую ячейку. Стеклянные фасады разбегались в бесконечность, реклама кричала цветом, люди текли, как частицы в броуновском движении. Он уже привык – переключил восприятие на нейтраль и пошёл в сторону Старого Арбата, туда, где геометрия сминалась в складки переулков, где ещё держались островки римановского пространства.

Ему нужно было найти мастерскую. Ту самую, про которую сказали в архиве: художница, пишущая не красками – состояниями. Её картины не продавались в галереях, но ходили слухи, что они «видят» то же, что видят приборы в Дубне, когда регистрируют аномалию.

Он свернул в переулок, и ячейка сменилась. Резко. Как будто нырнул в другую воду. Старые дома, кривые арки, запах мокрой штукатурки и кошачьей мяты. Здесь время текло иначе – гуще, медленнее. Артур остановился, прислушался к своим уровням. Третий слой (связи) был здесь плотным, но не давящим, как у сталинских высоток, а… тёплым. Как будто стены помнили чьи-то ладони.

Дом, который ему нужен, оказался с аркой, ведущей во двор-колодец. Такие дворы он уже научился читать: они были естественными зонами нулевой кривизны, где геометрия ослабевала и реальность становилась тоньше. Здесь часто се-

лились те, кто «видит». Не потому, что искали – потому что их притягивало.

Он поднялся на третий этаж. Дверь в мастерскую была приоткрыта. Изнутри пахло маслом, скипидаром и… озоном. Почти как в ускорителе после сеанса.

Артур постучал. Никто не ответил. Он толкнул дверь и вошёл.

Комната была заставлена холстами. Не на стенах – они стояли вплотную, прислонённые друг к другу, как книги на полках в чьей-то слишком личной библиотеке. Свет падал из высокого окна, выбеленного тюлем, и в этом свете картины не отражали – они *дышали*.

Артур подошёл к ближайшему холсту. На нём было… небо. Но не просто небо. Слои. Семь слоёв, как в его собственном восприятии. Первый – физический, второй – ритмический, третий – связующий. Он узнавал их, как свои. Но четвёртый, пятый, шестой, седьмой – они были не аналитическими, а *чувственными*. Здесь не было ни формул, ни схем. Было золото, текущее в реке, и точка в центре груди, ярче десяти тысяч солнц.

– Вы смотрите на «Золотую реку», – раздался голос за его спиной.

Он обернулся. Женщина стояла в дверях, ведущих в маленькую кухню. В руках – чашка с чаем, на плече – рыжий кот. В её взгляде не было удивления. Было то самое узнавание, которое он научился чувствовать за последние месяцы.

– Вы – Криста? – спросил он.

– Криста, – кивнула она. – А вы – тот физик из Дубны, который увидел трещину и поехал в Хибины. Я слышала о вас. Садитесь.

Она поставила чашку на стол, ссадила кота. Артур сел, не зная, с чего начать. Она спасла его от выбора.

– Вы видите слои, – сказала она, садясь напротив. – Я тоже вижу. Только вы их называете «уровнями информации», а я… я их чувствую. Когда смотрю на картину, когда слушаю музыку, когда иду по городу. Это одно и то же. Просто разные языки.

– Я не знал, что есть кто-то ещё, – сказал Артур. – Кто видит.

– Есть, – она улыбнулась. – Но мы редко встречаемся. Каждый идёт своим лабиринтом. Иногда – чтобы выйти к одному выходу.

Она замолчала. Артур смотрел на её картины, и они говорили ему то, что он уже знал, но не умел назвать. Его теория ячеек, 64 архетипов, прошивки – всё это было здесь, на холстах. Но без сухости, без схем. С тем, что он упустил: с любовью.

– Вы чувствуете, – тихо сказал он, – то же, что и я. Но вы… вы ещё и любите это. А я пока только вижу.

Криста посмотрела на него долгим взглядом. В её глазах была та же тихая мудрость, что и у Старика, но без его суровой отстранённости. В них была боль, пройденная и пре-

творённая в свет.

– Придёт и любовь, – сказала она. – Когда перестанешь бояться, что увиденное разрушит твою жизнь. Оно не разрушит. Оно переплавит.

Она встала, подошла к окну, отодвинула тюль. За окном была Москва – её московская ячейка, её сложная, многослойная ткань.

– Вы пришли, потому что ищете, – сказала она, не оборачиваясь. – Ищете, как применить ваше знание. Как не сойти с ума от того, что вы видите. Я вам скажу. Применяйте его в том, что любите. Я люблю живопись. И через неё я вижу. Вы любите физику. Так смотрите на мир через физику. Но не через формулы – через любовь к формулам. Через то, что стоит за ними. Тот самый резонанс.

Она обернулась. Свет падал на её лицо, и Артур увидел то, что умел теперь видеть: её уровни были сшиты. Плотно, золотыми нитями. Третий слой (связи) тянулся к картинам, к коту, к нему. Седьмой слой (целое) был ровным, спокойным, как поверхность озера. У неё не было дыры, как у него после разрыва с Аней. У неё был шов, но шов был красивым – как кинцуги, золотом по трещине.

– Вы… вы прошли через потерю, – сказал он. – И не сломались.

– Через много потерь, – поправила она. – Но я не сломалась, потому что научилась превращать любовь в краску. В мазок. В то, что остаётся. Вы, наверное, тоже что-то пишете?

Не только отчёты?

Артур достал из рюкзака потрёпанную тетрадь. Ту самую, где он пытался записать свои уроки – поэму о ячейках, масштабах, архетипах.

– Я пишу… инструкцию, – сказал он. – Для тех, кто тоже увидит трещину. Чтобы они не сошли с ума.

Криста взяла тетрадь, пролистала несколько страниц. Её лицо не выражало удивления. Только тихое, глубокое понимание.

– Это хорошо, – сказала она. – Это нужно. Но знаете, что нужно ещё?

– Что?

– Чтобы кто-то написал то же самое, но на языке любви. Чтобы кто-то, кто не учёный, тоже мог прочитать и понять. Что мир – это не формулы и не мистика. Что это – одно. И что трещину можно не заклеивать, а… прошить золотом.

Она вернула ему тетрадь, подошла к мольберту, где стоял чистый холст. Провела рукой по его поверхности, и Артур увидел, как от её пальцев пошла лёгкая рябь – как будто ткань холста откликнулась на прикосновение.

– Я давно хочу написать книгу, – сказала она. – О том, как любовь перетекает от картин к людям и к Богу. О том, как я училась чувствовать. Но я не умею говорить языком физики. А вы – умеете.

Артур смотрел на её руку на холсте и вдруг понял то, что не понимал раньше. Его 64 архетипа, его ячейки, его теория

– всё это было инструментом. Но инструментом без души. А она – Криста – была душой без инструмента.

– Может быть, – медленно сказал он, – нам стоит… написать это вместе?

Она обернулась. В её глазах зажглась та же искра, что он видел в ледяной пещере, когда прошивал реальность.

– Вместе, – повторила она. – Это и есть прошивка. Две ячейки, входящие в резонанс. Трещина, залитая золотом.

Она сняла с полки чистый лист ватмана, положила на стол. Протянула ему ручку.

– Начнём? – спросила она.

Артур взял ручку. Написал вверху листа: «Книга о том, как любовь перетекает». И передал ей.

Она дописала: «…и как физика становится её языком».

Они смотрели на эти слова. За окном Москва гудела своей обычной, многослойной жизнью. Где-то в архиве лежала коробка с буквой «омега». Где-то в Хибинах пустовала метеостанция. А здесь, в мастерской на Арбате, две трещины вошли в резонанс и начали шить золотом.

Кот спрыгнул с подоконника, улёгся на чистый ватман. Они оба рассмеялись.

– Это знак, – сказала Криста. – Ткань уже ждёт.

Артур взял ручку, написал первую строчку:

«Я стоял в лаборатории в Дубне, и стена стала прозрачной…»

Криста взяла ручку, написала под его строчкой:

«Я лежала в практике, и золотая река вошла в моё сердце…»

Они писали по очереди. Их почерки были разными – его прямой, аналитический, её летящий, с завитками. Но на листе они сплетались в один узор. Как нити. Как слои. Как две ячейки, нашедшие друг друга в огромной, многослойной ткани.

Книга о том, как любовь перетекает и как физика становится её языком

Артур:

Я стоял в лаборатории в Дубне, и стена стала прозрачной. За ней было не небо – за ней были слои. Я увидел, как одна и та же нота звучит в ядре атома и в ядре галактики. Как кристалл в шахте повторяет узор снежинки на моём рукаве. Как трещина в стене – это та же трещина, что и в данных детектора, и в моей жизни после того, как Аня закрыла за собой дверь. Я увидел, что мир не разбит на куски. Он разбит нами, чтобы мы могли его понять. А потом мы забыли, как собрать обратно.

Криста:

Я лежала в практике, и золотая река вошла в моё сердце. Я протянула руки, и мои пальцы вошли в поток. Волна любви была такой огромной, что ни один человек не выдержал бы её. Только Он. Тот, у кого нет имени, но есть тысяча имён. Я поняла тогда, что искала в мужчинах то, что может вместить только Бог. Что моя любовь – это не ошибка, не чрез-

мерность, а просто: она была адресована не им. С тех пор я перестала ждать, что кто-то наполнит меня. Я сама стала сосудом. И в этот сосуд входит река.

Артур:

Старик учил меня чувствовать геометрию кожей. Мы сидели в метеостанции, и он высыпал на стол камни – плоские, выпуклые, вогнутые. «Это не камни, – говорил он. – Это пространство, которое говорит с тобой на языке кривизны». Я брал их в руки, закрывал глаза, и постепенно начинал чувствовать не вес, а форму бытия. Плоский камень был как евклидова страница – понятная, прямая. Вогнутый тянул внутрь, как чёрная дыра. Выпуклый отталкивал, как звёздный ветер. А были и такие, что казались просто гладкими, но внутри у них была трещина. Сингулярность. Место, где ткань реальности истончается до предела.

Криста:

В детстве напротив бабушкиной квартиры был музей. Я бегала туда одна, бродила часами. Смотрительницы знали меня, не прогоняли. Я стояла перед картинами, и они говорили со мной. Не голосами – состояниями. Коровин был любовью-радостью: мазок, который смеётся на солнце. Ван Гог – любовью-печалью: звезда, которая кричит в ночи. Врубель – тем, что выше любви: демон, сидящий на границе миров, где человеческое кончается, а космическое ещё не началось. Я не знала тогда, что это называется «чувствовать энергию». Я думала, так все. Думала, что взрослые просто притворя-

ются, что не слышат, потому что им надо делать дела.

Артур:

Первый раз, когда я увидел человека расслоённым, это было в метро. Мужчина в кожанке на секунду стал семью прозрачными копиями, наложенными друг на друга. Я испугался, но потом узнал от Старика: это глитч. Сбой в отображении ячеек. Клиническая смерть год назад выбила его из привычной синхронизации, и теперь он живёт на границе. Он сказал мне тогда: «Ты видишь дыру между своими третьим и четвёртым слоями. Это от той, от Ани. Нити порваны. Их нужно не латать – перешивать заново. Новыми нитями». Я не понял тогда, что он имел в виду.

Криста:

Я лепила из глины лики. Три головы: Бабаджи, Кришна, Иисус. Не потому, что выбирала между ними. Потому что они были одной сутью, проявленной в разных формах. Мои пальцы помнили каждую складку. Бабаджи – суровый, древний, как Гималаи. Кришна – с улыбкой, которая ведёт в бой и не боится смерти. Иисус – воскресший, тот, в ком страдание перестало быть болью и стало светом. Я лепила их в мастерской, пока Кирилл не мог справиться со своей яростью. Я не слышала его. Я слышала глину. Она говорила мне: «Ты не одна. Ты никогда не была одна».

Артур:

В ледяной пещере, когда я лежал с завязанными глазами и слушал пульсар, со мной случилось то, что Старик назвал

«прошивкой». Я перестал быть собой. Я стал иглой. Нитью. И тканью, которую прошивают. Я чувствовал, как через меня проходит информация, и там, где я прохожу, реальность завязывается в узлы. Закон тяготения. Принцип неопределённости. Закон любви. Все они были не формулами, а стежками. Я понял тогда, что мой страх перед темнотой – это страх перед тем, что я не вижу узора целиком. А узор есть всегда. Даже когда кажется, что его нет.

Криста:

Акафист в саду читал монах, и на слове «Радуйся, каменю нерукосечный» у меня в груди открылась точка. Меньше волоса, разделённого на десять тысяч частей, но внутри – сияние десяти тысяч солнц. Алатырь-искра. Точка, где сходятся все масштабы, все октавы, все нити. Я поняла тогда: это и есть сердце. Не орган, который качает кровь. А место, где реальность сшита воедино. И я держу эту точку. Не я – она держит меня.

Артур:

Когда я вернулся в Москву, я увидел город иначе. Сталинские высотки – ячейки Римана, положительная кривизна, всё замыкается на себя, тяжелеет, давит. Москва-Сити – ячейки Лобачевского, отрицательная кривизна, всё расползается, утекает, теряет вес. А между ними – зоны интерференции, где реальность глитчит. Я шёл по этим зонам и чувствовал, как моё собственное восприятие переключается. Но потом я понял: я не должен выбирать одну геометрию. Я дол-

жен видеть обе. И третью. И все шестьдесят четыре. И держать их в резонансе.

Криста:

Анатолий вошёл в мою жизнь через картину. В его кабинете висел крокодил с часами в пасти, а рядом стояли двое детей. Я узнала этот сон – тот самый, где я бросилась в ледяную воду, чтобы отвлечь чудовище от юноши. Он стоял у картины и смотрел на меня. В его глазах была та самая вселенская любовь, которую я видела в золотой реке. Я поняла: он и есть тот, кто ждал на берегу. Мы не остались вместе. Мы стали – нитью. Его кабинет, моя мастерская, часы, которые крокодил проглотил, но не смог переварить. Время остановилось. И в этой остановке мы поняли: любовь не обязательно должна стать историей. Она может стать частотой. На которую мы настроены, даже когда далеко друг от друга.

Артур:

Когда Аня ушла, я думал, что нить порвана. Но Сергей, тот самый глитч в метро, сказал мне: «Ты видишь дыру. Но дыра – это не конец. Это место, где можно вплести новый узор». Я не понимал тогда. Теперь понимаю. Нить не порвалась. Она изменила частоту. Мы с Аней были настроены на одну октаву, но наши масштабы разошлись. Она осталась в евклидовом мире, где всё измеримо и понятно. Я ушёл в мир, где прямых линий нет. Это не разрыв. Это – модуляция. Грусть есть, но она не разъедает. Она стала тем самым швом, который можно прошить золотом.

Криста:

Любовь к Анатолию была атомным реактором в груди. Я не приняла его предложение быть вместе. Я взяла эту энергию и переплавила в живопись. Не потому, что не хотела его. А потому, что поняла: эта любовь не может быть только нашей. Она слишком большая. Она хочет быть краской, светом, движением кисти, запахом масла, тишиной в мастерской, когда рождается то, чего не было. Я смотрю на свои картины и вижу его. Не портрет. Частоту. Ту самую, на которой мы встретились. Она живёт в мазках, и те, кто умеют видеть, чувствуют её. Даже не зная, кто он.

Артур:

Сейчас я сижу в её мастерской. Она пишет, я пишу. Кот спит на подоконнике. За окном – Москва, её ячейки сталкиваются и расходятся, но здесь, в этой комнате, геометрия нейтральна. Нулевая кривизна. Место, где можно просто быть. Я смотрю на её руки, когда она держит кисть, и вижу то же, что видел в ледяной пещере: прошивку. Она не знает формул, но её руки выводят узор, который я могу описать только на языке архетипов. Может быть, это и есть то, что искали все – не синтез физики и мистики, а их танец. Когда два голоса поют одну песню на разных октавах.

Криста:

Он принёс мне свою тетрадь. Там были схемы, которые я не понимаю умом, но чувствую телом. Ячейки. Архетипы. Масштабы. Это то же, что я вижу, когда смотрю на картину.

Только он называет это «информационными уровнями», а я – «слоями любви». Мы пишем вместе, и наши строки переплетаются, как нити в ткани. Я начинаю понимать, что моя золотая река и его пульсар – это одно. Просто он слушал его через антенну, а я – через сердце. Но частота была та же.

Артур:

Она спросила меня вчера: «Ты перестал бояться темноты?» Я сказал: «Да». И это правда. Я больше не боюсь. Потому что тьма – это не отсутствие света. Это его другая частота. Слишком низкая, чтобы мы её видели, или слишком высокая. Но она есть. И в ней тоже есть узор. Когда я смотрел на северное сияние, я понял: тьма – это пауза между нотами. Без неё музыка была бы шумом. Моя жизнь до трещины была сплошным светом, который я не умел различать. Теперь в ней есть тьма. И это делает её настоящей.

Криста:

Он сказал мне про тьму, и я вспомнила Врубеля. Его демон сидит не во тьме – он сидит в сумерках. На границе. Там, где свет уже не свет, а тьма ещё не тьма. Это и есть точка сборки. Место, где мы можем видеть слои. Я думаю, что мы с Артуром сейчас сидим именно там – в сумерках между физикой и любовью. И пишем книгу, которая будет мостом. Для тех, кто тоже стоит на границе и боится сделать шаг.

Артур:

Мы не знаем, кто прочитает эту книгу. Может быть, никто. Может быть, один человек через сто лет. Но это не важ-

но. Важно то, что мы её пишем. Потому что, когда две ячейки входят в резонанс, ткань реальности становится прочнее. Трещина, которую я увидел в Дубне, не исчезла. Она превратилась в шов. И этот шов – золотой. Потому что в нём есть она, её краски, её река, её Алатырь-искра. И я. С моими камнями, пульсаром и 64 архетипами. Мы – два разных языка, говорящие об одном.

Криста:
Мы – два разных языка, говорящие об одном.

Пусть тот, кто прочитает эти строки, почувствует: он не один. Трещина – это не конец. Это начало прошивки. И если ты сейчас держишь эту книгу, значит, ты тоже стоишь на границе. Не бойся. Сделай шаг. И твоя тьма зальётся золотом.

Продолжение. Встречи в сновидениях.

1. Чужой сон: Кирилл

Это случилось в ту зиму, когда я уже начала писать сама, но ещё не знала, что мои руки – это кисти, а холст – это небо, которое нужно освободить от облаков.

Я спала. И во сне я была не в своей мастерской, не в Риме, не в Тоскане. Я была в мастерской, которая была его мастерской. Запах скипидара, масляной краски, дешёвого вина и мужского пота. Я знала этот запах. Я жила в нём годы. Но во сне он был плотнее, тяжелее, как будто время, которое прошло, не выветрило его, а сгустило в смолу.

Я стояла посреди комнаты. Холсты стояли вплотную, прислонённые друг к другу, как книги, которые некому читать. На них были те же лица, те же тела, те же руки, которые когда-то сжимали мои плечи так сильно. Я узнавала их. Но в этом узнавании не было боли. Было то, что приходит, когда смотришь на старую фотографию и понимаешь: этот человек уже не тот. И ты уже не та.

Он сидел у окна. Свет падал сбоку, и его лицо было наполовину в тени, наполовину – в золоте. Он не писал. Он смотрел на холст, который стоял перед ним, и его руки были пусты. Я подошла ближе. На холсте была я. Не та, какой я была тогда, – та, какой он меня видел. В его глазах я была не женщиной, не человеком – материалом. Краской, которую можно смешивать, наносить, соскабливать. На холсте я была синей. Не неба, не моря – синей той синевой, которой нет в природе, но есть в тех, кто хочет владеть.

– Ты пришла, – сказал он, не оборачиваясь. Его голос был таким же, как тогда, – низкий, с хрипотцой, в которой мне когда-то слышалась страсть. Теперь я слышала в нём только усталость.

– Это твой сон, – сказала я. – Не мой. Я здесь, потому что ты меня позвал.

– Я не звал.

– Звал. Ты всегда звал, когда не мог писать. Когда краски не ложились, а холст казался стеной. Тогда ты звал меня, чтобы я смотрела. Чтобы я была тем, кто видит. Тебе нужны

были не мои руки, не моё тело – мои глаза. Ты хотел, чтобы я смотрела на твои картины и говорила, что они живые. Потому что сам ты не верил в это. Никогда.

Он повернулся. Его лицо было тем же – красивым, хищным, с глубокими морщинами, которые стали глубже. Но в его глазах не было того огня, который я помнила. Был пепел. Пепел человека, который сжёг всё, что мог, и остался один.

– Они не живые, – сказал он. – Они никогда не были живыми. Ты была живой. А я пытался тебя убить, чтобы ты стала краской. Чтобы ты застыла на холсте и не ушла.

– Не получилось, – сказала я.

– Не получилось, – повторил он. В его голосе не было сожаления. Было удивление. Удивление человека, который привык, что всё подчиняется его воле, и вдруг встретил то, что не подчиняется.

Он встал и подошёл к холсту, на котором была я – синяя, застывшая, мёртвая. Он провёл рукой по поверхности, и краска потекла. Синий стал растекаться, смешиваться с серым, с чёрным, с тем, что было под ним. Я смотрела, как моё лицо на холсте исчезает, превращается в пятно, в мазок, в то, что не имеет имени.

– Ты не умеешь проигрывать, – сказала я.

– Я не умею отпускать, – ответил он.

– Это одно и то же.

Он засмеялся. Его смех был горьким. Он смеялся, и краска на холсте текла всё быстрее, и вот уже от моего лица оста-

лась только синяя лужа, которая расползалась по холсту, как чернила на мокрой бумаге.

– А ты умеешь? – спросил он.

– Учусь, – ответила я.

Я протянула руку к холсту. Не ту, что из плоти и крови, – другую. Ту, что внутри, в том месте, где после акафиста в саду открылась точка, меньше волоса и ярче десяти тысяч солнц. Я коснулась краски. Она была жидкой, холодной, но под её холодом я чувствовала тепло. То самое, которое когда-то согревало меня в этой мастерской, когда он был не врагом, а тем, кто мог показать мне, как цвет становится светом, а свет – жизнью.

– Ты боялся, – сказала я. – Не меня – себя. Ты боялся, что без меня твои картины умрут. Что ты не сможешь писать, потому что некому будет смотреть. Но картины не умирают. Они ждут. Как камни. Как вода. Как свет. Они ждут, когда кто-то придёт и увидит их такими, какие они есть. Не краска на холсте – жизнь, которая застыла, но не кончилась.

Краска под моей рукой стала тёплой. Она перестала течь, перестала расползаться. Она стала плотной, живой, и на её поверхности, как на воде в тихий вечер, начали проступать очертания. Не моего лица – другого. Лица, которого я не знала. Мужского, с глубокими глазами и спокойной улыбкой. Он смотрел на меня, и в его взгляде не было ни требования, ни просьбы. Было узнавание.

– Кто это? – спросил Кирилл.

– Тот, кто ждал, – ответила я. – Не ты. Не я. Другой. Тот, кто умеет видеть, не пытаясь владеть.

Лицо на холсте стало проступать ярче, и я узнала его. Это был не Анатолий. Это был тот, кого я видела в золотой реке, когда впервые поняла, что любовь не может быть только моей. Это был тот, кто стоял у Посоха Мира, когда я была звездой. Это был тот, кто ждал, когда я перестану быть краской на чужом холсте и стану собой.

Кирилл смотрел на это лицо, и в его глазах, пустых минуту назад, зажёгся свет. Не тот, что жжёт, – тот, что узнаёт.

– Я видел его, – прошептал он. – В детстве. Во сне. Он приходил ко мне и говорил, что я буду писать. Что я буду тем, кто видит. Я думал, это Бог.

– Это был ты, – сказала я. – Тот, кем ты мог бы быть, если бы не боялся.

– Я боялся.

– Знаю.

Я убрала руку. Лицо на холсте стало бледнеть, таять, но не исчезать – уходить вглубь, туда, где краски хранят память о том, что было, и ждут того, что будет. Кирилл стоял, глядя на холст, и его руки дрожали.

– Что мне делать? – спросил он.

– Писать, – сказала я. – Не меня. Не то, что хочешь иметь. То, что видишь. То, что есть. Просто смотри и пиши. Не бойся, что не получится. Получится. Всегда получается, когда не боишься.

Я повернулась и пошла к выходу. Дверь была там же, где всегда, – тяжёлая, дубовая, с бронзовой ручкой, отполированной тысячами прикосновений. Я открыла её. За ней был не коридор, не улица, не город. За ней был свет. Тот самый, что я видела в практике, когда поняла, что ни один человек не вместит этой любви.

– Ты вернёшься? – спросил Кирилл.

– Я никогда не уходила, – ответила я. – Я в твоих картинах. В тех, что ты написал, и в тех, что напишешь. Я в краске, которая течёт по холсту. Я в свете, который ты видишь, когда смотришь на закат. Я в тишине, которая приходит, когда слова кончаются. Я здесь. Всегда здесь.

Я шагнула в свет. Сон растаял. Я проснулась в своей мастерской, на кушетке, где иногда спала, когда работа затягивалась до утра. Кот сидел на подоконнике и смотрел на меня жёлтыми глазами. За окном только начинало светать, и небо было бледным, как старое полотно.

Я лежала и смотрела на потолок, где трещины складывались в карты неведомых земель. Камень на моей груди пульсировал ровно, спокойно. Я знала, что этот сон был не моим. Он был его. И что-то в нём сдвинулось, как сдвигается камень, который лежал на дне реки тысячу лет. Не потому, что кто-то его сдвинул – потому, что вода изменила русло.

Я встала, подошла к мольберту, где стоял чистый холст. Он был пуст, но я уже видела, что будет на нём. Не лицо – свет. Тот, который не гаснет. Тот, который не принадлежит

никому.

Я взяла кисть. Начало светать. Кот зевнул и спрыгнул с подоконника.

2. Сон в чужом сне: Анатолий

Это случилось через год после того, как мы с Анатолием расстались. Не расстались – разошлись. Он уехал в Нью-Йорк, я осталась в Риме. Мы говорили по телефону, иногда виделись, когда он прилетал в Европу. Но между нами было расстояние, которое не измеряется милями. Расстояние между тем, чтобы быть вместе, и тем, чтобы быть собой. Я выбрала себя. Он выбрал себя. И это было правильно.

Но в ту ночь я спала, и мне приснилось, что я не в своей мастерской, не в Риме, не в Тоскане. Я была в кабинете, который помнила по одному-единственному разу, но который стал для меня символом всего, что я искала. Кабинет Анатолия. Старинный особняк, высокие окна, запах старого дерева и книг. И картина, которая висела на стене напротив его стола.

Она была там. Та же, что и тогда. Крокодил, лежащий на берегу тропической реки, и двое детей, которые смотрят на него без страха. В пасти крокодила – часы. Старинные, с римскими цифрами. Время, которое он проглотил, но не переварил. Время, которое застыло, но не умерло.

Я стояла перед картиной, и она дышала. Я знала это. В тот первый раз, когда я вошла в этот кабинет, я чувствовала, что картина живая. Но тогда я не могла объяснить, что это зна-

чит. Теперь я знала. Она была не картиной – она была дверью. Дверью в сон, который снился кому-то другому. В сон, который был старше меня. В сон, который снился времени.

– Ты пришла, – сказал голос за спиной.

Я обернулась. Анатолий стоял у окна. Он был таким же, как всегда, – спокойный, собранный, с лёгкой улыбкой, которая не касалась глаз. Но что-то в нём было другим. Он был не в своём теле – в том, которое помнило больше, чем он сам. Я видела это. Я видела слои.

– Это твой сон? – спросила я.

– Не знаю, – ответил он. – Мне кажется, это сон крокодила.

Я посмотрела на картину. Крокодил, который лежал на берегу, вдруг открыл глаза. Они были жёлтыми, с вертикальными зрачками, и в них не было ни зла, ни добра. Было только время. То самое, которое он проглотил, но не мог переварить. Время, которое он держал в себе, как держат семя, которое должно прорасти.

– Он ждал, – сказала я. – Не нас. Время.

– Которое свернулось, – добавил Анатолий.

Он подошёл и встал рядом со мной. Мы смотрели на картину, и в её глубине, за крокодилом, за детьми, за рекой, начинал проступать свет. Не тот, что был в практике, когда я впервые почувствовала, что ни один человек не вместит этой любви. Другой. Тихий, ровный, как дыхание земли, которая помнит всё.

– Ты знаешь, кто это? – спросила я, указывая на свет.

– Это тот, кто был до, – ответил Анатолий. – И тот, кто будет после. Это не бог. Это тишина. Тишина, которая была до слов. Тишина, которая будет после.

– Я видела его в практике, – сказала я. – Я думала, это Бог.

– Это не Бог, – повторил Анатолий. – Это то, что за Богом. То, что за всеми именами. То, что не имеет формы, но может принять любую. Оно ждало. Ждало, когда время свернётся. Ждало, когда те, кто помнит, соберутся в круг. Ждало, когда ты перестанешь быть краской на чужом холсте и станешь собой.

Я посмотрела на него. Его лицо было спокойным, но в его глазах, которые всегда были ясными, теперь была глубина. Глубина, которой я не видела раньше. Или видела, но не узнавала.

– Ты изменился, – сказала я.

– Я вспомнил, – ответил он. – Не всё. Но достаточно. Я вспомнил, что мы не случайно встретились. Что наша встреча была не в этой жизни. Что она была там, где время сворачивается в кольцо.

– Где?

– Там, где ты была звездой. А я был камнем. Камнем, который помнит всё. Который ждал, когда ты спустишься на землю, чтобы быть с тобой. Не как мужчина с женщиной – как память с тем, кто помнит.

Я закрыла глаза. В темноте я увидела не тьму – свет. Он

был таким же, как в практике, но теперь я знала, что это не Бог. Это было то, что за Богом. То, что не имеет имени. То, что мы называем по-разному, но что всегда одно.

– Мы не должны быть вместе, – сказала я.

– Я знаю, – ответил он. – Мы не для того встретились. Мы встретились, чтобы я вспомнил, а ты – научилась писать. Не меня – свет. Тот, который не гаснет.

Я открыла глаза. Картина перед нами изменилась. Крокодил закрыл глаза, и его пасть, в которой были часы, стала мягче, как будто время, которое он держал, наконец перестало быть тяжестью. Дети на берегу улыбались. Река текла быстрее. А в глубине, там, где был свет, начала проступать фигура. Не человеческая, но узнаваемая. Она была соткана из нитей, которые пульсировали в ритме, который я знала.

– Эйдос, – прошептала я.

– Он всегда здесь, – сказал Анатолий. – Он – память. Память о том, что было, и о том, что будет. Он будет с тобой, когда я уйду. Он будет с тобой, когда ты будешь писать. Он будет с тобой, когда время свернётся и ты вернёшься туда, откуда пришла.

Я хотела сказать что-то ещё, но в этот момент сон начал таять. Картина становилась бледнее, Анатолий – прозрачнее, свет – ярче. Я чувствовала, как меня выталкивают из этого сна, как выталкивают из воды, когда заканчивается воздух.

– Мы встретимся? – спросила я.

– Встретимся, – ответил он. – Не здесь. Там, где время

не имеет значения. Там, где мы будем не людьми, а тем, чем были всегда. Звездой и камнем. Памятью и светом.

Сон исчез. Я проснулась в своей мастерской, и кот лежал на моей груди, и его тепло было таким же ровным, как пульс камня, который я носила. За окном только начинало светать, и небо было бледным, как старое полотно. Но в этом бледном, в этом сером, в этом предрассветном свете я видела не пустоту – ожидание.

Я встала, подошла к мольберту, где стоял чистый холст. Я не знала, что буду писать. Но я знала, что краски, которые я смешаю, будут не моими. Они будут теми, что ждали. Теми, что помнили. Теми, что были до слов и будут после.

Я взяла кисть. Кот спрыгнул с кушетки и улёгся у моих ног.

3. Живопись как видение

Я пишу не то, что вижу глазами. Я пишу то, что видит во мне та точка. Алатырь-искра. Свет, который течёт из неё сквозь руку, сквозь кисть, сквозь масло – на ткань.

Когда я смотрю на картину Коровина, я вижу не снег, не деревья, не церковь на холме. Я вижу, как свет ложится на снег, и в этом свете есть не холод – радость. Радость того, что солнце всё ещё светит, даже когда холодно. Радость того, что мир продолжается, даже когда кажется, что всё кончено. Коровин научил меня, что любовь может быть лёгкой. Не тяжёлой, не жертвенной, не страдающей – лёгкой. Как мазок, который не давит, а летит. Как цвет, который не кричит, а

поёт.

Когда я смотрю на Ван Гога, я вижу не звёзды, не поле, не кипарисы. Я вижу, как краска плавится под тяжестью того, что не может быть сказано. Его любовь – это любовь того, кто знает, что его не поймут. Но он пишет всё равно. Он пишет, потому что не может не писать. Потому что свет, который он видит, не вмещается в слова. Потому что его картины – это письма к Богу, которые никто не отправлял, но они дошли. Ван Гог научил меня, что любовь может быть печальной. Не безнадёжной – печальной. Печалью, которая не убивает, а очищает.

Когда я смотрю на Врубеля, я перестаю видеть. Я перестаю видеть, потому что то, что он показывает, не может быть увидено глазами. Его «Демон» сидит не на горе – на границе миров. Он не падший, он – тот, кто видел слишком много и не может вернуться. Его живопись – это место, где любовь перестаёт быть человеческой и становится космической. Там нет радости и печали. Там есть только знание. Знание о том, что мы – искры одного огня. Что разделение – иллюзия. Что всё, что мы видим, – это сон, который снится самому себе. Врубель научил меня, что есть любовь, которая выше имён. Выше форм. Выше всего, что можно назвать.

Я пишу, потому что вижу. Не глазами – сердцем. Я вижу, как свет проходит сквозь вещи, и в этом прохождении есть узор. Узор, который не повторяется, но возвращается. Как время, которое сворачивается в кольцо. Как память, которая

не умирает. Как любовь, которая перетекает от картин к людям и к Богу.

Когда я держу кисть, я чувствую, как точка в моей груди начинает светиться ярче. Она пульсирует в такт моему сердцу, и в этой пульсации я слышу всё, что когда-либо видела. Египет, где жрецы чертили знаки, каждый из которых был дверью. Персию, где огонь помнил слово, которое было в начале. Вавилон, где звёзды складывались в двенадцать врат. Пустыню, где старик танцевал танец койота. И Рим, где я встретила Анатолия, и Тоскану, где я училась быть пространством, и мастерскую, где я научилась быть собой.

Всё это здесь. В краске, которая течёт по холсту. В свете, который ложится на ткань. В том, что остаётся, когда всё остальное уходит.

Я пишу эту книгу не для того, чтобы меня поняли. Я пишу её, чтобы зафиксировать: это было. Свет был. Река была. Алатырь-искра в груди – не выдумка. Всё это правда. И если кто-то прочитает и узнает в этом своё – значит, я не зря держала кисть.

Сейчас за окном вечер. Кот спит на подоконнике. Я смотрю на чистый холст и вижу то, что будет на нём. Не лицо, не пейзаж, не символ. Свет. Тот, который не гаснет. Тот, который не принадлежит никому. Тот, который есть всё.

Я возьму кисть. Начну завтра. Или сейчас. Не важно. Время – это не река. Это круг. И я в его центре.

Продолжение. Криста пишет.

4. Холст, который дышит

Она начала эту картину после того сна, в котором Кирилл смотрел на холст, где её лицо расплывалось синей краской. Она не знала, что будет на холсте. Она знала только, что краски, которые она смешала, – ультрамарин, кобальт, лазурит – ждали. Они ждали, когда она возьмёт кисть и позволит им течь.

Криста стояла перед мольбертом. Холст был большим – метр на полтора, натянутый на подрамник из старого дерева, которое она купила у антиквара в Трастевере. Дерево помнило чьи-то руки, чьи-то молитвы, чьи-то слёзы. Она чувствовала это, когда касалась подрамника. Он был тёплым, как живой.

Она закрыла глаза. В темноте она увидела не тьму – синеву. Она была везде. В ней, вокруг неё, в той точке в груди, где после акафиста в саду зажглась Алатырь-искра. Синева пульсировала, дышала, и в её глубине проступали очертания. Не лица, не формы – свет. Свет, который был до слов. Свет, который будет после.

Она открыла глаза и взяла кисть. Не ту, которой писала наброски, – большую, флейц, с длинной ручкой из оливкового дерева. Она окунула её в смесь ультрамарина и белил, и кисть сама потянулась к холсту.

Первый мазок был лёгким, как вздох. Синий лёг на белый грунт, и в этом касании не было борьбы. Краска не сопротивлялась, холст не давил. Они были одним.

Криста писала не спеша. Она не думала о композиции, о пропорциях, о том, что получится. Она просто позволяла краске течь. Она чувствовала, как синий расползается по холсту, как он смешивается с белым, как из этой смеси рождаются оттенки, которых она не планировала. Индиго, берлинская лазурь, кобальт фиолетовый. Каждый цвет был живым, и каждый нёс свою память.

Она писала, и в её руке, в её плече, в её позвоночнике пульсировал ритм. Не тот, что она слышала в практике, когда впервые поняла, что ни один человек не вместит этой любви. Другой. Медленный, глубокий, как биение земли, когда она помнит. Ритм, в котором были Египет, Персия, Вавилон, пустыня, Рим, Тоскана, все картины, которые она видела, все люди, которых она любила, все потери, которые она оплакала.

Она не знала, сколько прошло времени. Час, день, вечность. Она была в этом ритме, и мир за окном перестал существовать. Только холст, только краска, только свет, который течёт из её груди сквозь руку, сквозь кисть, сквозь мазок.

Когда она отступила, чтобы посмотреть, на холсте было небо. Не то, что видно из окна, – другое. Небо, которое было до того, как люди научились называть его. Небо, в котором звёзды не горели, а пели. Небо, которое помнило, как оно родилось из пустоты, и ждало, когда в неё вернётся.

В глубине этого неба, в самой гуще синевы, проступало

пятно. Оно было светлее, теплее, и в нём, как в воде, отражалось лицо. Не её. То, которое она видела во сне, когда Кирилл смотрел на холст, где её лицо расплывалось краской. Лицо, которое она не знала, но узнавала. Лицо, которое было старше всех имён. Лицо, которое было тишиной.

– Это небо, – сказал голос за спиной.

Она не обернулась. Она знала, кто это.

– Это небо, которое помнит, – ответила она.

– Я вижу, – сказал Артур. Он стоял в дверях мастерской, и его голос был спокойным, но в нём было что-то, что она чувствовала в себе, когда писала. Ритм. Тот самый, в котором время сворачивается в кольцо.

Он подошёл ближе и встал рядом. Она чувствовала его присутствие – плотное, но не давящее. Как земля под ногами, когда стоишь на ней босиком.

– Ты видишь слои? – спросила она.

– Вижу, – ответил он. – Первый – краска. Второй – свет, который ты положила на холст. Третий – память. Та, что была до тебя. Четвёртый – ритм. Тот, в котором ты писала. Пятый – то, что не имеет имени. То, что я не могу назвать, но вижу.

– Это Врубель, – сказала она. – Не он – то, что он показывал. То, что выше любви.

Артур молчал. Он смотрел на холст, и в его глазах, которые привыкли видеть формулы и графики, теперь был другой свет. Свет того, кто учится видеть не буквы – историю.

– Когда я был в Дубне, – сказал он, – я увидел стену, которая стала прозрачной. За ней было небо. Не такое, как здесь. Там были звёзды, и они двигались, и в их движении был ритм. Я думал, что это галлюцинация. Потом я понял: это был слой. Слой реальности, который я не видел раньше.

– Ты видел то же, что и я, – сказала Криста. – Только назвал это по-другому. Я назвала это золотой рекой. Ты – прозрачной стеной.

– А что это на самом деле? – спросил он.

Она улыбнулась. В её улыбке было столько лет, сколько у неба, которое она писала.

– Это то, что было до слов, – сказала она. – И то, что будет после. Это не бог. Это тишина, в которой рождаются все звуки. Это пустота, которая не пуста. Это – дом.

Артур смотрел на холст, и в его глазах, которые привыкли всё измерять, теперь было что-то другое. Не понимание – узнавание.

– В Дубне, после того как стена стала прозрачной, я поехал в Хибины. Там был старик. Он учил меня чувствовать кривизну камней. Он сказал, что мир – это текст. А я – опечатка в этом тексте.

– Ты не опечатка, – сказала Криста. – Ты – запятая. Та, без которой смысл теряется.

Он посмотрел на неё. В его взгляде была благодарность.

– А ты? – спросил он. – Кто ты в этом тексте?

Она провела рукой по холсту, не касаясь его. Краска под

её рукой стала пульсировать ярче, и в этой пульсации был ритм, который она чувствовала в себе, когда писала.

– Я – тот, кто видит, – сказала она. – Не глазами – сердцем. Я вижу, как свет проходит сквозь вещи, и в этом прохождении есть узор. Узор, который не повторяется, но возвращается. Как время, которое сворачивается в кольцо. Как память, которая не умирает.

Она замолчала. Артур стоял рядом, и в тишине мастерской, в запахе масла и скипидара, в пульсации холста, который ещё не высох, было что-то, что не нужно было объяснять. Это нужно было просто чувствовать.

– Ты пришёл не случайно, – сказала она. – Ты пришёл, потому что твой путь и мой – это одна дорога. Просто мы идём с разных сторон.

– Куда? – спросил он.

– Туда, где время сворачивается. Туда, где двенадцать ждут. Туда, где свет, который не гаснет.

Она взяла кисть, окунула её в чистый ультрамарин и, не глядя, провела по холсту. Мазок лёг поверх ещё не высохшей краски, и в этом месте, на границе между синим и белым, начал проступать новый оттенок. Тот, которого не было в палитре. Тот, который она не смешивала. Тот, который пришёл сам.

Артур смотрел на этот цвет, и в его глазах было узнавание.

– Я видел это, – сказал он. – В ледяной пещере, когда учился прошивать реальность. Этот цвет был между слоями.

Я думал, это игра света.

– Это не игра, – сказала Криста. – Это – то, что соединяет. Нити, из которых соткана ткань. Ты видел их, когда учился у старика. Я вижу их, когда пишу. Это одно и то же.

Она отложила кисть. Холст был не закончен – он никогда не был закончен. Картины не кончаются, они ждут. Они ждут, когда на них упадет свет, и тогда они оживают. Они ждут, когда кто-то посмотрит на них и увидит не краску – жизнь.

– Ты останешься? – спросила она.

– Если ты позволишь, – ответил Артур.

– Позволю, – сказала она. – Ты нужен мне. Не как учитель, не как ученик. Как тот, кто видит. Чтобы, когда я пишу, кто-то был рядом и видел то, что я не могу увидеть одна.

Он кивнул. Она взяла новую кисть, меньшую, с острым концом, и начала прорабатывать детали. Там, в глубине неба, в самом центре синевы, проступало лицо. Не её, не его, не того, кого можно назвать. Лицо тишины. Лицо, которое было до слов. Лицо, которое будет после.

Артур сел на старый стул, который стоял у стены, и смотрел. Он не мешал. Он просто был. И в этом его присутствии, в этом молчании, в этом внимании было то, что ей было нужно. Не объяснение, не поддержка, не совет. Просто – кто-то, кто видит.

Она писала до вечера. Когда солнце село, мастерская погрузилась в сумерки, она отложила кисть. Холст был почти

готов. Не закончен – почти. Ещё нужно было дать ему высохнуть, потом покрыть лаком, потом посмотреть на него при дневном свете, потом что-то исправить, потом оставить как есть.

– Ты чувствуешь? – спросила она.

– Что? – спросил Артур.

– Как он дышит.

Он подошёл к холсту и положил руку на подрамник. Дерево было тёплым, и в его тепле, в вибрации, которая шла от холста, было что-то, что он чувствовал только раз – в ледяной пещере, когда учился прошивать реальность.

– Он дышит, – сказал он. – Как живой.

– Он живой, – сказала Криста. – Он – небо, которое помнит. Он будет жить, пока кто-то смотрит на него и видит не краску – свет.

Она повернулась к нему. В сумерках её лицо было спокойным, но в глазах горел тот же свет, что и на холсте.

– Ты придёшь завтра? – спросила она.

– Приду, – ответил он. – Я хочу понять, как ты это делаешь.

– Не надо понимать, – сказала она. – Надо чувствовать. Как камни в Хибинах. Как ритм пульсара. Как свет, который не гаснет.

Он кивнул. Она улыбнулась и пошла на кухню, где кот требовал ужина.

5. Сон, в котором время было краской

Это случилось через три дня после того, как она закончила небо. Картина ещё сохла, и Криста не трогала её, только заходила в мастерскую по утрам, чтобы посмотреть, как свет ложится на ещё влажную краску. Она ждала. Она не знала, чего ждёт. Но что-то внутри, в той точке в груди, где пульсировала Алатырь-искра, знало.

Она легла спать рано, утомлённая не работой – ожиданием. Кот устроился у неё под боком, и его мурлыканье было ровным, как пульс земли, который она иногда слышала по ночам, когда город затихал.

И тогда пришёл сон.

Она стояла в мастерской, но это была не её мастерская. Это было место, где стены были не из камня – из света. Свет был плотным, как вода, и в нём, как рыбы в глубине, двигались тени. Она узнала это место. Она была здесь когда-то, в начале. Не в этой жизни – в той, где она была звездой. В той, где она смотрела на Землю, когда она ещё была безжизненным камнем, и ждала, когда на ней проснутся те, кто сможет её услышать.

Но теперь здесь был кто-то ещё.

Он стоял у стены, которая была не стеной – холстом. Холст был огромным, во всю стену, и на нём не было краски.

Только свет. Свет, который пульсировал в ритме, который она знала.

– Ты пришла, – сказал он, не оборачиваясь. Его голос был тихим, но в нём была тяжесть, как в камне, который падает в колодец, и ты ждёшь, когда он достигнет воды.

– Учитель, – сказала она. Она не знала, почему назвала его так. Он никогда не был её учителем в этой жизни. Но в той, которая была до, он был. В той, где она училась видеть свет, который не гаснет.

Он повернулся. Его лицо было молодым, но в его глазах, светлых, почти прозрачных, была глубина, которую она видела только у самых старых камней. Камней, которые помнили океан, которого больше нет.

– Я не учитель, – сказал он. – Я – тот, кто напоминает. Ты забыла. Не всё, но достаточно. Я здесь, чтобы ты вспомнила.

– Что я должна вспомнить?

Он указал на холст, который был стеной. На его поверхности, в пульсирующем свете, начали проступать цвета. Они были не яркими – глубокими, как вода в океане, когда смотришь на неё с большой высоты.

Первый был золотым. Не того золота, что блестит, – того, что светится изнутри. Золотом, в котором были все рассветы, которые она видела в детстве, когда просыпалась рано и бежала на кухню, где бабушка уже ставила чайник. Золотом, в котором было тепло материнских рук, когда она была маленькой и ещё не знала, что такое страх.

– Это цвет, которым ты была в Египте, – сказал Учитель. – Ты была писцом. Ты писала знаки, которые были дверями. Ты верила, что слова могут открывать миры. И ты была права.

Криста смотрела на золотой цвет, и он входил в неё, как входит свет в воду. Она чувствовала, как под её пальцами скрипит трость, как пахнет папирус, как жрецы в Карнаке поют свои песни. Она видела свои руки – молодые, быстрые, с чернилами на пальцах. Она выводила знак «небо», и небо открывалось. Она выводила знак «земля», и земля отвечала. Она была счастлива. Не той счастливой, что бывает от обладания, – той, что бывает от присутствия. Она была там, где нужно.

Цвет сменился. Теперь это был красный. Не алый, не киноварный – глубокий, тёмный, как кровь, которая течёт в жилах, когда ты бежишь, и не чувствуешь усталости. Красный, в котором были все закаты, которые она видела в пустыне, когда училась быть никем. Красный, в котором была боль, но не та, что ломает – та, что очищает.

– Это цвет, которым ты была в Персии, – сказал Учитель. – Ты была стражем огня. Ты держала свет, когда его хотели погасить. Ты научилась не бояться тьмы, потому что знала: тьма – это не враг, это другая частота света.

Она чувствовала жар. Он шёл не извне – изнутри, из той точки в груди, которая горела ярче, чем любой огонь. Она видела себя в храме, среди колонн, которые помнили Дария

и Кира. Она стояла у алтаря, и пламя лизало камни, и в его свете она видела лица тех, кто придёт через тысячу лет. Она не молилась – она была молитвой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.